



Проспер Мери́ме

Хроника царствования Карла IX



Перевод с французского
Николая Любимова

ФТМ



Проспер Мериме

Хроника царствования Карла IX

«ФТМ»

1829

Мериме П.

Хроника царствования Карла IX / П. Мериме — «ФТМ», 1829

Действие романа разворачивается на фоне политических и религиозных войн, охвативших Францию во второй половине XVI века. Идет жесткая борьба за власть между тремя основными партиями; противостояние католиков и гугенотов накаляет ситуацию до предела. В борьбу втянута большая часть нации, все слои французского общества. На религиозной почве происходят ожесточенные стычки на улицах, в тавернах, при дворе... Изображая нравы эпохи, Проспер Мериме создает психологически убедительные образы священнослужителей, политических деятелей, придворных и простых людей. Роман написан живо, ярко, по-настоящему захватывающе и при этом исторически достоверно.

© Мериме П., 1829

© ФТМ, 1829

Содержание

ГЛАВА I	10
ГЛАВА II	19
ГЛАВА III	23
ГЛАВА IV	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Проспер МЕРИМЕ

ХРОНИКА ЦАРСТВОВАНИЯ КАРЛА IX

За последнее время я прочитал довольно много мемуаров и памфлетов, относящихся к концу XVI века. Мне захотелось сделать экстракт прочитанного, и я его сделал.

В истории я люблю только анекдоты, а из анекдотов предпочитаю такие, в которых, как мне подсказывает воображение, я нахожу правдивую картину нравов и характеров данной эпохи. Страсть к анекдотам нельзя назвать особенно благородной, но, к стыду своему, должен признаться, что я с удовольствием отдал бы Фукидида за подлинные мемуары Аспазии или Периклова раба, ибо только мемуары, представляющие собой непринужденную беседу автора с читателем, способны дать изображение *человека*, а меня это главным образом занимает и интересует. Не по Мезре, а по Монлюку, Брантому, д'Обинье, Тавану, Лану́ и др. составляем мы себе представление о *французе* XVI века. Слог этих авторов не менее характерен, чем самый их рассказ.

У Этуалья сказано мимоходом:

«Девушка Шатоннеф, одна из милашек короля до его отъезда в Польшу, увлеклась флорентийцем Антинотти, начальником галер в Марселе, выскочила за него замуж, а потом, обнаружив, что он впал в блуд, взяла да собственными руками его и убила».

При помощи этого анекдота и множества других – а у Брантома их полно – я мысленно воссоздаю характер, и передо мной оживает придворная дама времен Генриха III.

Мне представляется любопытным сравнить тогдашние нравы с нашими и обратить внимание на то обстоятельство, что сильные чувства выродились, зато жизнь стала спокойнее и, пожалуй, счастливее. Остается решить вопрос: лучше ли мы наших предков, а это не так легко, ибо взгляды на одни и те же поступки с течением времени резко изменились.

Так, например, в 1500 году убийство и отравление не внушали такого ужаса, как в наши дни. Дворянин предательски убивал своего недруга, ходатайствовал о помиловании и, испросив его, снова появлялся в обществе, причем никто и не думал от него отворачиваться. В иных случаях, если убийство совершалось из чувства правой мести, то об убийце говорили, как говорят теперь о порядочном человеке, убившем на дуэли подлеца, который нанес ему кровное оскорбление.

Вот почему я убежден, что к поступкам людей, живших в XVI веке, нельзя подходить с меркой XIX. Что в государстве с развитой цивилизацией считается преступлением, то в государстве менее цивилизованном сходит всего лишь за проявление отваги, а во времена варварские, может быть, даже рассматривалось как похвальный поступок. Суждение об *одном и том же деянии* надлежит, понятно, выносить еще и *в зависимости от того, в какой стране оно совершилось*, ибо между двумя народами такое же точно различие, как между двумя столетиями¹.

Мехмет-Али, у которого мамелюкские беи оспаривали власть над Египтом, в один прекрасный день приглашает к себе во дворец на праздник их главных военачальников. Не успели они войти, как ворота за ними захлопываются. Спрятанные на верхних террасах албанцы расстреливают их, и отныне Мехмет-Али царит в Египте единовластно.

Что же из этого? Мы ведем с Мехметом-Али переговоры, более того: он пользуется у европейцев уважением, во всех газетах о нем пишут как о великом человеке, его называют благодетелем Египта. А между тем что может быть ужаснее совершенного с заранее обдуманной намерением убийства беззащитных людей? Но все дело в том, что подобного рода ловушки

¹ Нельзя ли установить такой взгляд и на отдельных лиц? Неужели воруящий сын вора несет одинаковую ответственность с человеком воспитанным, который стал злостным банкротом?

узаконены местными обычаями и объясняются невозможностью выйти из положения иначе. Ну как тут не вспомнить изречение Фигаро: *Ma, per Dio, l'utilite!* ²

Если бы в распоряжении одного министра, которого я здесь называть не стану, находились албанцы, готовые по его приказу кого угодно расстрелять, и если бы во время одного из званых обедов он отправил на тот свет наиболее видных представителей оппозиции, то *фактически* его деяние ничем бы не отличалось от деяния египетского паши, а вот с точки зрения нравственной оно в сто раз более преступно. Убивать – это уже не в наших нравах. Но тот же самый министр уволил многих либеральных избирателей, мелких правительственных чиновников, запугал других, и выборы прошли, как ему хотелось. Если бы Мехмет-Али был министром во Франции, он бы дальше этого не пошел, а французский министр, очутись он в Египте, непременно начал бы расстреливать, оттого что увольнения не произвели бы на умы мамелюков должного действия ³.

Варфоломеевская ночь была даже для того времени огромным преступлением, но, повторяю, резня в XVI веке – совсем не такое страшное преступление, как резня в XIX. Считаем нужным прибавить, что участие в ней, прямое или косвенное, приняла большая часть нации; она ополчилась на гугенотов, потому что смотрела на них как на чужестранцев, как на врагов.

Варфоломеевская ночь представляла собой своего рода национальное движение, напоминающее восстание испанцев 1809 года, и парижане, истребляя еретиков, были твердо уверены, что они действуют по воле неба.

Я – рассказчик, и я не обязан последовательно излагать ход исторических событий 1572 года. Но уж раз я заговорил о Варфоломеевской ночи, то не могу не поделиться мыслями, которые пришли мне в голову, когда я читал эту кровавую страницу нашей истории.

Верно ли были поняты причины резни? Была ли она подготовлена заранее или же явилась следствием решения внезапного, быть может – делом случая?

На все эти вопросы ни один историк не дал мне удовлетворительного ответа.

В качестве доказательства историки приводят городские слухи и воображаемые разговоры, которые очень мало значат, когда речь идет о решении столь важной исторической проблемы.

Иные утверждают, что Карл IX – это воплощение двуличия, другие рисуют его человеком угрюмым, взбалмошным и вспыльчивым. Если он задолго до 24 августа грозил протестантам – значит, он исподволь готовил их избиение; если он обласкал их – значит, он двуличен.

В доказательство того, как легко подхватываются самые неправдоподобные слухи, я хочу рассказать только одну историю, которую вы можете найти везде.

Будто бы уже приблизительно за год до Варфоломеевской ночи был составлен план резни. Вот в чем он заключался: в Пре-о-Клер должны были построить деревянную башню; туда решено было поместить герцога Гиза с дворянами и солдатами-католиками, а адмирал с протестантами должен был разыграть атаку – якобы для того, чтобы король поглядел, как происходит осада. Во время этого своеобразного турнира по данному знаку католикам надлежало зарядить свое оружие и перебить врагов, прежде чем они успеют изготавиться к обороне. Чтобы разукрасить эту историю, рассказывают еще, будто фаворит Карла IX Линьероль из-за собственной неосторожности разоблачил заговор – когда король словесно изничтожал протестантских вельмож, он ему сказал: «Государь! Потерпите немного. У нас есть крепость, и она отомстит за нас всем еретикам». Прошу, однако, заметить, что никто еще не видел ни одной доски от этой крепости. Король велел казнить болтуна. План этот будто бы составил канцлер Бираг, а вместе с тем ему приписывают фразу, свидетельствующую о совершенно иных намерениях: дабы избавить короля от его недругов, ему, Бирагу, нужно, мол, всего несколько поваров. Последнее

² Черт с ним, наплевать, зато польза! (ит.)

³ Это предисловие было написано в 1829 году.

средство было гораздо более доступным, тогда как план с башней в силу своей необычности представляется почти неосуществимым. В самом деле: неужто у протестантов не возбудили бы подозрений приготовления к военной игре, в которой два стана, еще недавно – враждебных, столкнулись бы лицом к лицу? Да и потом, кто хочет расправиться с гугенотами, тот вряд ли станет собирать их всех в одном месте и вооружать. Ясно, что если бы заговорщики ставили своей задачей истребление всех протестантов, то насколько же целесообразнее было бы перебить их, безоружных, поодиночке!

По моему глубокому убеждению, резня была непреднамеренной, и мне непонятно, что заставляет придерживаться противоположного мнения авторов, которые, однако, сходятся на том, что Екатерина – женщина очень злая, но что это один из самых глубоких политических умов XVI века.

Оставим пока в стороне нравственные принципы и рассмотрим этот мнимый план только с точки зрения его выгоды. Так вот, я стою на том, что план этот был невыгоден двору; к тому же осуществлен он был в высшей степени бестолково, из чего приходится сделать вывод, что составляли его люди весьма недалекие.

Рассмотрим, выиграла бы или проиграла королевская власть от такого плана и в ее ли интересах было согласиться на то, чтобы он был приведен в исполнение.

Франция делилась тогда на три крупные партии: на партию протестантов, которую после смерти принца Конде возглавил адмирал, на королевскую партию, слабейшую из трех, и на партию Гизов – тогдашних ультрароялистов.

Ясно, что король, у которого было ровно столько же оснований опасаться Гизов, сколько и протестантов, должен был постараться укрепить свою власть, сталкивая между собой эти два враждебных лагеря. Раздавить один из них – значило отдать себя на милость другому.

Система балансирования была уже тогда достаточно известна и применялась на деле. Еще Людовик XI говорил: «Разделяй и властвуй».

Теперь посмотрим, был ли Карл IX набожен. Ревностное благочестие могло толкнуть его на неосторожный шаг, но нет: все говорит о том, что если он и не был вольнодумцем, то, с другой стороны, не был и фанатиком. Да и руководившая им мать, не задумываясь, принесла бы в жертву свои религиозные убеждения, если только они у нее были, ради своего властолюбия ⁴.

Предположим, однако, что сам Карл, или его мать, или, если хотите, его правительство решили, вопреки всем правилам политики, истребить протестантов во Франции. Ко-гда бы они такое решение приняли, то уж, конечно, взвесив все способы, остановились бы на наиболее верном. Тогда первое, что пришло бы им на ум как наиболее надежное средство, это одновременное избиение реформатов во всех городах королевства, дабы реформаты, подвергшись нападению численно превосходящих сил противника ⁵, нигде не могли оказать сопротивление. Для того чтобы с ними покончить, потребовался бы всего один день. Именно так замыслил истребить евреев Ассуэр.

Между тем мы знаем из истории, что первый указ короля об избиении протестантов помещен 28 августа, то есть он был издан четыре дня спустя после Варфоломеевской ночи, когда весть об этой страшной бойне давно уже опередила королевских гонцов и должна была всколыхнуть протестантов.

Особенно важно было захватить крепости протестантов. Пока крепости оставались в их руках, королевская власть не могла чувствовать себя в безопасности. Следовательно, если бы

⁴ Как доказательство крайнего двуличия Карла IX приводили одну его фразу, которая, на мой взгляд, представляет собой всего лишь грубую выходку человека, вполне равнодушного к религии. Папа чинил препятствия браку сестры Карла IX, Маргариты Валуа, с Генрихом IV, в то время протестантом. «Если святейший владыка не даст согласия, – сказал король, – я возьму сестрицу Марготон под руку и обвенчаю ее в протестантской церкви».

⁵ Население Франции тогда равнялось приблизительно двадцати миллионам человек. Полагают, что во время второй гражданской войны число протестантов не превышало полутора миллионов, но у них было больше денег, солдат и полководцев.

католический заговор действительно существовал, то ясно, что католикам надлежало принять две наиболее срочные меры: 24 августа захватить Ла-Рошель и держать целую армию на юге Франции с целью помешать объединению реформатов ⁶.

Ни того, ни другого сделано не было.

Я не могу допустить, чтобы люди, замыслившие чреватое столь важными последствиями преступление, так неумело его совершили. В самом деле, принятые меры оказались настолько слабыми, что спустя несколько месяцев после Варфоломеевской ночи война разгорелась с новой силой, и вся слава в этой войне досталась, конечно, реформатам, и они извлекли из нее новые выгоды.

Далее: за два дня до Варфоломеевской ночи произошло убийство Колиньи – не отмечает ли оно окончательно предположение о заговоре? К чему убивать главаря до всеобщего избиения? Не значило ли это вспугнуть гугенотов и заставить их быть начеку?

Я знаю, что некоторые авторы приписывают убийство адмирала только одному герцогу Гизу. Однако, не говоря о том, что общественное мнение обвинило в этом преступлении короля ⁷ и что убийца получил от *короля* награду, я бы извлек из этого факта еще один аргумент против предположения о наличии заговора. В самом деле, если бы заговор существовал, герцог Гиз непременно принял бы в нем участие, а в таком случае почему бы не отложить кровную месть на два дня, чтобы уж отомстить наверняка? Неужели только ради того, чтобы ускорить на два дня гибель своего врага, надо было ставить на карту успех всего предприятия?

Итак, по моему мнению, все указывает на то, что это великое избиение не явилось следствием заговора короля против части своего народа. Варфоломеевская ночь представляется мне непредвиденным, стихийным народным восстанием.

Попытаюсь в меру моих скромных сил разгадать эту загадку.

Колиньи трижды вел переговоры со своим государем на равных правах – уже это одно могло возбудить к нему ненависть. Когда умерла Жанна д'Альбре, оба юных принца – и король Наваррский, и принц Конде – были еще слишком молоды, никто бы за ними не пошел, а потому Колиньи был действительно единственным вождем партии реформатов. После смерти Колиньи оба принца оказались как бы пленниками во враждебном лагере, участь их теперь всецело зависела от короля. Значит, только смерть Колиньи, только его одного, была нужна для укрепления власти Карла IX, который, вероятно, помнил слова герцога Альбы: «Голова одного лосося стоит больше, чем десять тысяч лягушек».

Но если бы король одним ударом мог избавиться и от адмирала, и от герцога Гиза, то он стал бы неограниченным властелином.

Вот что ему следовало предпринять: прежде всего он должен был возложить убийство адмирала на герцога Гиза или, во всяком случае, свалить на него это убийство, а затем объявить, что он готов выдать его с головой гугенотам и начать против него преследование как против убийцы. Мы не можем ручаться, был герцог Гиз соучастником Морвеля или не был, но что он с великою поспешностью покинул Париж и что реформаты, которым король для вида покровительствовал, угрожали принцам Лотарингского дома, – это мы знаем наверное.

Парижский люд был тогда до ужаса фанатичен. Горожане создали нечто вроде национальной гвардии, которая представляла собой настоящее войско и готова была взяться за оружие, едва лишь слышит набат. Насколько парижане любили герцога Гиза – и в память отца, и за его личные заслуги, – настолько гугеноты, дважды их осаждавшие, были им ненавистны. В ту пору, когда одна из сестер короля была выдана замуж за принца, исповедовавшего гугенотскую веру, гугеноты пользовались при дворе некоторым расположением, но от этого они стали

⁶ Во время второй гражданской войны протестанты в один день внезапно захватили больше половины французских крепостей. Католики имели теперь возможность сделать то же самое.

⁷ Морвеля прозвали убийцей на службе у короля. См. Брантом.

еще заносчивее и еще ненавистнее своим врагам. Словом, для того чтобы фанатики бросились резать своих впавших в ересь соотечественников, нужно было кому-нибудь стать во главе их и крикнуть: «Бей!», только и всего.

Опальный герцог, которому угрожали и король, и протестанты, вынужден был искать поддержки в народе. Он собирает начальников городского ополчения, сообщает им, что существует заговор еретиков, требует перебить заговорщиков, пока они еще не начали действовать, и *только после этого* решено было учинить резню. Строгость тайны, в которую был облечен заговор, а также тот факт, что, хотя в заговор было втянуто множество людей, никто этой тайны не выдал, объясняется весьма просто: после возникновения замысла и до его осуществления прошло всего лишь несколько часов. Если бы дело обстояло иначе, это было бы нечто из ряда вон выходящее, ибо *в Париже любой секрет распространяется мгновенно*⁸.

Теперь трудно определить, какое участие принял в резне король; если он ее и не одобрил, то уж, вне всякого сомнения, допустил. Спустя два дня, в течение которых совершались убийства и насилия, он от всего отрекся и попытался остановить бойню⁹. Но ярости народной дай только волю – небольшим количеством крови ее тогда уже не утолить. Ей понадобилось шестьдесят с лишним тысяч жертв. Монарх вынужден был плыть по течению. Он отменил указ о помиловании и вскоре издал другой, вследствие которого волна убийств прокатилась по всей Франции.

Вот каков мой взгляд на Варфоломеевскую ночь, но, изложив его, я повторяю слова лорда Байрона:

I only say, suppose this supposition.
*D. Juan, canto I, st. LXXXV*¹⁰.

1829

⁸ Слова Наполеона.

⁹ Он приписывал убийство Колиньи и всю эту резню герцогу Гизу и принцам Лотарингского дома.

¹⁰ Я говорю одно: предположим *Дон Жуан, песнь 1, строфа LXXXV* (англ.).

ГЛАВА I РЕЙТАРЫ

*The black band came over
The Alps and their snow,
With Bourbon the rover
They passed the broad Po.*
Lord Byron. The deformed transformed¹¹

Когда едешь в Париж, то неподалеку от Этампа еще и сейчас виднеется большое квадратное здание со стрельчатыми окнами, украшенное грубыми изваяниями. Над входом – ниша; прежде там стояла каменная мадонна, но во время революции она разделила участь многих святых мужского и женского пола: ее торжественно разбил председатель ларсийского революционного клуба. Впоследствии ее заменили другой статуей Девы Марии – правда, из гипса, но благодаря шелковым лоскуткам и стекляшкам она выглядит даже нарядно и облагораживает находящийся в самом здании кабачок Клода Жиро.

Более двухсот лет тому назад, а именно – в 1572 году, это здание тоже служило приютом для жаждущих, но тогда у него был совсем другой вид. Надписи на его стенах говорили о превратностях гражданской войны. Тут можно было прочесть: *Да здравствует принц!*¹², а рядом: *Да здравствует герцог Гиз! Смерть гугенотам!* Поодаль какой-то солдат нарисовал углем виселицу и повешенного, а во избежание недоразумений подписал внизу: *Гаспар де Шатильон*. Вскоре, однако, в том краю взяли верх, по-видимому, протестанты, так как имя их предводителя кто-то зачеркнул и написал: *Герцог Гиз*. Другие надписи полустерты и прочтению поддаются с трудом, а еще труднее передать их смысл в выражениях пристойных, однако из них явствует, что о короле и его матери отзывались в ту пору столь же непочтительно, как и о главарях обоих станов. Но особенно, должно быть, пострадала от разбушевавшихся гражданских и религиозных страстей несчастная мадонна. Следы пуль, повредивших статую местами в двадцати, свидетельствовали о той ярости, с какой гугеноты разрушали «языческие кумиры», – так они называли подобные изображения. Набожный католик, проходя мимо статуи, из чувства благоговения снимал шляпу, а всадник-протестант почитал своим долгом выстрелить из аркебузы, и если попадал, то испытывал такое же точно удовлетворение, как будто он сокрушил апокалипсического зверя или же искоренил идолопоклонство.

Несколько месяцев тому назад между двумя враждовавшими вероисповеданиями был заключен мир, но клятвы произносились при этом не от чистого сердца. Озлобление в обоих лагерях не ослабевало. Все напоминало о том, что военные действия прекратились совсем недавно, все предсказывало, что мир не может быть прочным.

Гостиница *Золотой лев* была набита солдатами. Выговор и особая форма одежды обличали в них немецких конников, так называемых *рейтаров*¹³, которые являлись предлагать свои услуги протестантам чаще всего именно тогда, когда протестанты бывали в состоянии щедро вознаградить их. Ловкие наездники и меткие стрелки, рейтары представляли собой грозную силу в бою, но они стяжали себе еще и другую славу – неумолимых победителей, грабивших все подряд, и вот эта слава была ими, пожалуй, в большей мере заслужена.

¹¹ Черная шайка Во главе с разбойником Бурбоном, Перевалив снежные Альпы, Перешла через По. Лорд Байрон. *Преображенный урод* (англ.).

¹² Принц Конде.

¹³ Искаженное немецкое слово Reiter – всадник.

Отряд, разместившийся в гостинице и состоявший из пятидесяти конников, выступил накануне из Парижа, чтобы нести в Орлеане гарнизонную службу. Одни чистили привязанных к стене лошадей, другие разводили огонь, поворачивали вертела, словом, готовили себе еду. Несчастный хозяин гостиницы мял шапку в руках и со слезами смотрел на беспорядок в кухне. Его птичник был уничтожен, погреб разграблен; солдаты не давали себе труда откупоривать бутылки, а прямо отбивали у них горлышки. К умножению всех бедствий, хозяин отлично знал, что от людей, которые обходятся с ним как с неприятелем, возмещения убытков он не дожидается, хотя против нарушителей воинской дисциплины король издал свирепые указы. В то жестокое время – все равно, мирное или военное – вооруженное войско всегда находилось на изживении местных жителей, и это установление никто не решался оспаривать.

За дубовым столом, потемневшим от жира и копоти, сидел рейтарский капитан. Это был высокий тучный человек лет пятидесяти, с орлиным носом, багровым лицом, редкими седеющими волосами, не закрывавшими широкого рубца, начинавшегося от левого уха и пропадавшего в густых усах. Панцирь и каску он снял; его камзол из венгерской кожи почернел, оттого что об него постоянно терлось оружие, а в некоторых местах был тщательно зачищен. Сабля и пистолеты лежали на скамейке – в случае чего капитан легко мог до них дотянуться, а на себе он оставил широкий кинжал: с этим оружием человек благоразумный расставался тогда, только ложась в постель.

Слева от него сидел молодой человек, румяный, высокий и довольно стройный. Его камзол был вышит, да и весь его костюм отличался несколько большей изысканностью, нежели костюм соседа. Между тем он был всего только штандарт-юнкером, а сосед – капитаном.

С ним разделяли компанию сидевшие за тем же столиком две молодые женщины, обе – лет двадцати с небольшим. Их одежда, явно с чужого плеча, которую они, по-видимому, взяли в добычу, представляла собой странную смесь роскоши и нищеты. На одной был лиф из камки, шитый золотом, которое давным-давно потускнело, и простая холщовая юбка; на другой – лилового бархата платье и мужская, серого войлока, шляпа с петушиным пером. Обе были миловидны. Их смелые взгляды и вольные речи указывали на то, что они привыкли жить среди солдат. Они выехали из Германии, не ставя перед собой определенных целей. Женщина в бархатном платье была цыганка – она гадала на картах и играла на мандолине. Другая имела кое-какие познания в хирургии и, по всем признакам, пользовалась особым расположением штандарт-юнкера.

Перед каждым из сидевших за столиком стояли большая бутылка и стакан, и в ожидании ужина все четверо болтали и потягивали вино.

Голод, однако, брал свое, и собеседники вяло поддерживали разговор, но в это время у ворот гостиницы остановился молодой человек высокого роста, довольно нарядно одетый, верхом на добром соловом коне. Со скамьи встал рейтар-трубач и, приблизившись к незнакомцу, взял его коня под уздцы. Незнакомец, приняв это за проявление учтивости, хотел было поблагодарить трубача, но очень скоро понял, что заблуждался, так как трубач разжал коню зубы и с видом знатока осмотрел их, затем отошел на несколько шагов и, проведя глазами по ногам и по крупу благородного животного, в знак удовлетворения закивал головой.

– Знатный у вас конь, *каспадин!* – сказал он на ломаном языке и добавил несколько слов по-немецки, вызвавших взрыв хохота у его товарищей, в кругу которых он поспешил снова усесться.

Бесцеремонный этот осмотр не понравился путнику. Однако он ограничился тем, что бросил на трубача презрительный взгляд, а потом без посторонней помощи слез с коня.

Хозяин, как раз в эту минуту вышедший во двор, почтительно взял у него из рук поводья и сказал ему на ухо, так, чтобы рейтары не могли услышать:

– Милости просим, молодой барин! Но только не в добрый час вы к нам прибыли: эти безобразники, чтоб им святой Христофор шею свернул, – не очень приятная компания для таких добрых христиан, как мы с вами.

Молодой человек насмешливо улыбнулся.

– Это что же, протестантская конница? – спросил он.

– Еще того чище – рейтары, – пояснил трактирщик. – Приехали час тому назад, а уже, чтоб им ни дна, ни покрышки, половину вещей успели у меня переломать. Такие же лихие разбойники, как их атаман, чертов адмирал Шатильон.

– У вас борода седая, а до чего же вы неосторожны! – заметил молодой человек. – А ну как вы напали на протестанта? Ведь за такие речи он вас по головке не погладит!

Произнося эти слова, молодой человек похлопывал хлыстом по своим сапогам из белой кожи.

– Как?.. Что такое?.. Вы – гугенот?.. То есть протестант?.. – в полном изумлении воскликнул трактирщик.

Он отступил на шаг и с головы до ног оглядел ново-прибывшего – он словно хотел отыскать в его одежде какой-нибудь признак, по которому можно было бы определить, какую веру тот исповедует. Одежда и открытое, улыбающееся лицо молодого человека несколько успокоили трактирщика, и он заговорил еще тише:

– Протестант в зеленом бархатном камзоле! Гугенот в испанских брыжах! Нет, это вздор! Меня, молодой барин, не обманешь: еретики так нарядно не одеваются. Пресвятая Дева! Камзол из самолучшего бархата – это будет слишком жирно для таких голодранцев, как они!

В ту же минуту со свистом разрезал воздух хлыст и ударил бедного трактирщика по щеке – так его собеседник выразил свой символ веры.

– Нахальный болтун! Я тебя выучу держать язык на привязи! А ну, веди моего коня в стойло! Да смотри, чтобы у коня всего было вдоволь!

Трактирщик, понутив голову, повел коня в некое подобие сарая, шепотом посылая проклятия и немецким, и французским еретикам. И если бы молодой человек не пошел за ним поглядеть, как он будет обращаться с конем, бедное животное, вне всякого сомнения, было бы не накормлено на том основании, что конь еретика тоже еретик.

Незнакомец вошел в кухню и, изящным движением приподняв широкополую шляпу с изжелта-черным пером, поздоровался. Капитан ответил ему на поклон, а затем оба некоторое время молча рассматривали друг друга.

– Капитан! – заговорил юный незнакомец. – Я дворянин, протестант, я рад, что встретил моих единоверцев. Если вы ничего не имеете против, давайте вместе отужинаем.

Богатое одеяние незнакомца, а также его изысканная манера выражаться произвели на капитана благоприятное впечатление, и он сказал, что почтет это за честь. Молодая цыганка Мила, о которой мы уже упоминали, поспешила подвинуться. Будучи от природы услужливой, она даже уступила незнакомцу свой стакан, а капитан немедленно наполнил его.

– Меня зовут Дитрихом Горнштейном, – чокаясь с молодым человеком, сообщил капитан. – Вы, уж верно, слыхали о капитане Дитрихе Горнштейне? Это я водил Бедовых ребят в бой под Дре, а затем под Арне-ле-Дюк.

Незнакомец сообразил, что у него не прямо спрашивают, как его зовут.

– К сожалению, капитан, я не могу похвастаться таким славным именем, как ваше, – отвечал он. – Я говорю только о себе, потому что имя моего отца во время гражданской войны стало широко известно. Меня зовут Бернаром де Мержи.

– Мне ли не знать это имя! – воскликнул Дитрих Горнштейн и налил себе полный стакан. – Я, господин Бернар де Мержи, знал вашего батюшку. Мы с ним познакомились еще в первую гражданскую войну, мы были закадычными друзьями. За его здоровье, господин Бернар!

Дитрих Горнштейн поднял стакан и сказал своему отряду несколько слов по-немецки. Как скоро он поднес стакан ко рту, все конники подбросили в воздух шапки и что-то при этом прокричали. Хозяин, вообразив, что это знак к избиению, упал на колени. Самого Бернара несколько удивили необыкновенные эти почести. Со всем тем он почел своим долгом в ответ на это изъявление немецкой вежливости выпить за здоровье капитана.

Бутылки еще до его прихода подверглись ожесточенной атаке, а потому на новый тост вина не хватило.

– Вставай, ханжа! – обратившись к хозяину, который все еще стоял на коленях, приказал капитан. – Вставай и сходи за вином! Ты что, не видишь, что в бутылках пусто?

Штандарт-юнкер для пущей убедительности запустил в него бутылкой. Хозяин побежал в погреб.

– Он изрядный наглец, – заметил де Мержи, – однако ж если б вы в него попали, то ему бы не поздоровилось!

– Наплевать! – с громким хохотом отозвался штандарт-юнкер.

– Голова паписта крепче бутылки, – вмешалась Мила. – Но зато в ней уж совсем пусто.

Штандарт-юнкер захохотал еще громче и заразил всех остальных, даже Мержи, хотя его заставила улыбнуться не столько язвительная шутка цыганки, сколько ее премилый ротик.

Принесли вина, затем подали ужин, и после некоторого молчания капитан заговорил снова, но уже с полным ртом:

– Как мне не знать господина де Мержи! Когда начался первый поход принца, он был уже в чине полковника и служил в пехоте. Во время первой осады Орлеана мы с ним два месяца стояли на одной квартире. А как он сейчас себя чувствует?

– Слава богу, для его преклонного возраста недурно! Он много рассказывал мне о рейтарах и об их лихих наскоках во время сражений под Дре.

– Я знал и его старшего сына... вашего брата, капитана Жоржа... то есть знал до того, как он...

Мержи приметно смутился.

– Это был отчаянный храбрец, – продолжал капитан, – но, черт его дери, больно горячая голова! Мне было так обидно за вашего батюшку! Я думаю, отступничество сына его очень огорчило.

Мержи покраснел до корней волос. Он что-то пролепетал в оправдание своему брату, однако легко можно было заметить, что в глубине души он строже судит своего брата, нежели рейтарский капитан.

– Я вижу, вам этот разговор неприятен, – молвил Дитрих Горнштейн. – Ну что ж, поговорим о другом. Это потеря для протестантов и ценное приобретение для короля, – как слышно, он у короля в большом почете.

– Ведь вы только что из Парижа, – постарался переменить разговор Мержи. – Адмирал уже там? Вы его, конечно, видели? Ну, как он теперь?

– Когда мы выступали, он вместе с двором возвратился из Блуа. Чувствует он себя превосходно, свеж и бодр. Такой молодчина, как он, еще двадцать гражданских войн выдержит и не охнет! Его величество так к нему благоволит, что все папошки готовы лопнуть с досады.

– Он это заслужил! Король перед ним в неоплатном долгу.

– Послушайте: я вчера был в Лувре и видел, как король пожимал адмиралу руку на лестнице. Гиз плелся сзади с видом побитой собаки. Знаете, что мне в эту минуту почудилось? Будто какой-то человек показывает на ярмарке льва: заставляет протягивать лапу, как делают собачки. Но хоть вожак и храбрится и не подает виду, а все-таки ни на секунду не забывает, что у этой лапы, которую он держит, страшные когти. Да, да, не сойти мне с этого места, если король тогда не почувствовал адмиральские когти.

– У адмирала длинная рука, – вставил штандарт-юнкер. (В протестантском войске это выражение вошло в поговорку.)

– Для своих лет он мужчина хоть куда, – заметила Мила.

– Если б мне пришлось выбирать между ним и молодым папистом, я бы взяла себе в любовники адмирала, – подхватила подружка штандарт-юнкера Трудхен.

– Это оплот нашей веры, – сказал Мержи: ему тоже захотелось принять участие в словесии.

– Вот только насчет дисциплины он уж чересчур строг, – покачав головой, сказал капитан.

Штандарт-юнкер многозначительно подмигнул, и его толстую физиономию исказила гримаса, которая должна была изобразить улыбку.

– Этого я от вас не ожидал, капитан, – молвил Мержи, – старому солдату не к лицу упрекать адмирала в том, что он требует от своего войска неуклонного соблюдения дисциплины.

– Да, конечно, дисциплина нужна. Но ведь и то сказать: доля солдата нелегкая, так если ему в кои-то веки представится случай весело провести время, то запрещать ему веселиться не следует. А впрочем, у каждого человека свои недостатки, и хотя адмирал меня повесил, я предлагаю выпить за его здоровье.

– Адмирал вас повесил? – переспросил Мержи. – Однако выглядите вы молодцом и на повешенного нимало не похожи.

– Да, *шорт восми*, он меня повесил. Но я на него зла не держу. Выпьем за его здоровье!

Мержи хотел было продолжать расспросы, но капитан, наполнив стаканы, снял шляпу и велел своим конникам троекратно прокричать «ура». Когда же стаканы были осушены и воцарилась тишина, Мержи снова обратился к рейтару:

– Так за что же вас повесили, капитан?

– За чепуху. В Сентонже был сначала разграблен, а потом случайно сгорел паршивый монастырь.

– Да, но *все* монахи оттуда *не* вышли, – ввернул штандарт-юнкер и залился хохотом – так ему понравилась собственная острота.

– Велика важность! Раньше ли, позже ли – все равно этой сволочи не избежать огня! Со всем тем, вы не поверите, господин де Мержи, – адмирал рассердился на меня не на шутку. Он велел меня схватить, а главный профос нимало не медля исполнил его приказание. Вся свита адмирала, дворяне, вельможи, сам Лану, а Лану, как известно, солдатам поблажки не дает, недаром его прозвали *Долбану*, – все полководцы просили адмирала помиловать меня, а он – ни за что. Вот до чего, волк его заешь, обозлился! Всю зубочистку изжевал от бешенства, а вы же знаете поговорку: «Избави нас, боже, от четок Монморанси и от зубочистки адмирала!» Говорит: «Мародерку, – прости, господи, мое согрешение, – надо уничтожить, пока она еще девочка, а если она при нашем попустительстве превратится в важную даму, то она всех нас уничтожит». Тут как из-под земли вырастает священник с Евангелием под мышкой, и нас с ним ведут к дубу... Дуб я как сейчас вижу: один сук торчит, словно нарочно для этого вырос. На шею мне накидывают петлю. Всякий раз, как представляю ее себе, в горле становится сухо, точно это не горло, а трут...

– Здесь есть чем его промочить, – сказала Мила и налила рассказчику полный стакан.

Капитан опорожнил его единым духом и продолжал:

– Я уже смотрел на себя, как на желудь, и вдруг меня осенило. «Ваше, говорю, высокопревосходительство! Неужто вам не жаль повесить человека, который командовал под Дре Бедовыми ребятами?» Гляжу: вынул зубочистку, берется за другую. «Отлично, – думаю себе, – это добрый знак!» Подозвал он одного из военачальников, по имени Кормье, и что-то прошептал ему на ухо. А потом говорит профосу: «Ну-ка, вздерни его!» – и зашагал прочь. Меня вздернули по всем правилам, но славный Кормье выхватил шпагу и разрубил веревку, а я, красный как рак, грянулся оземь.

– Поздравляю вас, – сказал Мержи, – вы дешево отделались.

Он пристально смотрел на капитана и, казалось, испытывал некоторое смущение оттого, что находится в обществе человека, который вполне заслужил виселицу, но в то страшное время преступления совершались на каждом шагу, и за них нельзя было судить так же строго, как судили бы мы за них теперь. Жестокости одного лагеря до известной степени оправдывали ответные меры, ненависть на религиозной почве почти совершенно заглушала чувство национального единства. Притом, откровенно говоря, Мила с ним укрادкой заигрывала, а она ему все больше и больше нравилась, да тут еще винные пары, которые на его юные мозги оказывали более сильное действие, нежели на чугунные головы рейтаров, – все это заставляло его относиться сейчас к своим собутыльникам в высшей степени снисходительно.

– Я недели полторы прятала капитана в крытой повозке, а выпускала только по ночам, – сказала Мила.

– А я приносила ему попить-поесть, – добавила Трудхен. – Он может это подтвердить.

– Адмирал сделал вид, что распалился гневом на Кормье, но это они оба разыгрывали комедию. Я потом долго шел за войском и не смел показываться на глаза адмиралу. Наконец во время осады Лоньяка он наткнулся на меня в окопе и говорит: «Друг мой Дитрих! Раз уж тебя не повесили, так пусть расстреляют!» И тут он показал на пролом в крепостной стене. Я понял, что он хочет сказать, и смело пошел брать Лоньяк приступом, а на другой день подхожу к нему на главной улице, в руке у меня простреленная шляпа. «Ваше, говорю, высокопревосходительство! Меня расстреляли так же точно, как и повесили». Адмирал усмехнулся и протянул мне кошелек. «Вот тебе, говорит, на новую шляпу!» С тех пор мы с ним друзья... Да уж, в Лоньяке мы пограбили так пограбили! Вспомнишь – слюнки текут.

– Какие красивые шелковые платья нам достались! – воскликнула Мила.

– Сколько хорошего белья! – воскликнула Трудхен.

– Какого жару мы дали монашкам из большого монастыря! – вмешался штандарт-юнкер. – Двести конных аркебузирова – на постое у сотни монашек!..

– Более двадцати монашек отреклось от папизма – до того пришились им по вкусу гугеноты, – сказала Мила.

– Любо-дорого было смотреть на моих аргулетов ¹⁴! – воскликнул капитан. – Они в церковном облачении коней поить водили. Наши кони ели овес на престолах, а мы пили славное церковное вино из серебряных чаш!

Он повернул голову и хотел было потребовать еще вина, но увидел, что трактирщик с выражением непередаваемого ужаса сложил руки и поднял глаза к небу.

– Болван! – пожав плечами, проговорил храбрый Дитрих Горнштейн. – Только круглые дураки могут верить рассказам католических попов. Послушайте, господин де Мержи, в бою под Монконтуром я выстрелом из пистолета уложил на месте дворянина из свиты герцога Анжуйского. Стащил я с него камзол, и что же бы вы думали, я нашел у него на брюхе? Большой лоскут шелка, на котором были вытканы имена святых. Он надеялся, что это убережет его от пули. Черта лысого! Я ему доказал, что нет такой ладанки, через которую не прошла бы протестантская пуля.

– Да, ладанки, – подхватил штандарт-юнкер. – А у меня на родине продают куски пергамента, предохраняющие от свинца и от железа.

– Я предпочитаю на совесть сработанную кирасу из лучшей стали, вроде тех, какие выделывают в Нидерландах Якоб Леско, – заметил Мержи.

– А все-таки я стою на том, что человек может сделаться неуязвимым, – снова заговорил капитан. – Я собственными глазами видел в Дре дворянина, – пуля попала ему прямо в грудь.

¹⁴ Разведчики, легкая кавалерия.

Но он знал рецепт чудодейственной мази и перед боем ею натерся, а еще на нем был буйволово́й кожи нагрудник, так на теле у него даже кровоподте́ка, как после ушиба, и того не осталось.

– А вы не находите, что одного этого нагрудника оказалось достаточно, чтобы защитить дворянина от пули?

– Ох, французы, французы, какие же вы все малoverы! А если я вам скажу, что при мне один силезский латник положил руку на стол и кто ни полоснет ее ножом – хоть бы один порез? Вы улыбаетесь? Вы думаете, что это басни? Спросите у Милы, вот у этой девушки. Она родом из того края, где колдуны – обычное явление, все равно что здесь монахи. Она может вам рассказать много страшных историй. Бывало, длинным осенним вечером сидим мы у костра, под открытым небом, а она рассказывает нам про всякие приключения, так у нас у всех волосы дыбом.

– Я бы с удовольствием послушал, – сказал Мержи. – Прелестная Мила! Сделайте одолжение, расскажите!

– Правда, Мила, – подхватил капитан, – нам надо это допить, а ты пока что-нибудь расскажи.

– Коли так, слушайте со вниманием, – проговорила Мила. – А вы, молодой барин, вы ничему не верите, ну и не верьте, только рассказывать не мешайте.

– Почему вы обо мне такого мнения? – вполголоса обратился к ней Мержи. – По чести, я уверен, что вы меня приворожили: я в вас влюблен без памяти.

Мержи потянулся губами к ее щеке, но Мила мягким движением отстранила его и, окинув беглым взглядом комнату, чтобы удостовериться, все ли ее слушают, начала с вопроса:

– Капитан! Вы, конечно, бывали в Гамельне?

– Ни разу не был.

– А вы, юнкер?

– Тоже не был.

– Как? Неужели никто из вас не был в Гамельне?

– Я прожил там целый год, – подойдя к столу, объявил один из конников.

– Стало быть, Фриц, ты видел Гамельнский собор?

– Сколько раз!

– И раскрашенные окна видел?

– Ну еще бы!

– А что на окнах нарисовано?

– На окнах-то? На левом окне, сколько я помню, нарисован высокий черный человек; он играет на флейте, а за ним бегут ребятишки.

– Верно. Так вот я вам сейчас расскажу историю про черного человека и про детей.

Много лет тому назад жители Гамельна страдали от великого множества крыс – крысы шли с севера такими несметными полчищами, что земля казалась черной; возчики не отваживались переезжать дорогу, по которой двигались эти твари. Они все пожирали в мгновение ока. Съесть в амбаре целый мешок зерна было для них так же просто, как для меня выпить стакан этого доброго вина.

Мила выпила, вытерла рот и продолжала:

– Мышеловки, крысоловки, капканы, отравы – ничто на них не действовало. Из Бремена тысячу сто кошек прислали на барже, но и это не помогло. Тысячу крыс истребят – появляются новые десять тысяч еще прожорливей первых. Словом сказать, если б от этого бича не пришло избавление, во всем Гамельне не осталось бы ни зернышка и жители перемерли бы с голоду.

Но вот однажды – это было в пятницу – к бургомистру приходит высокий мужчина, загорелый, сухопарый, пучеглазый, большеротый, в красном камзоле, в остроконечной шляпе, в широких штанах с лентами, в серых чулках, в башмаках с огненного цвета бантиками. Сбоку у него висела кожаная сумочка. Он как живой стоит у меня перед глазами.

Все невольно обратили взоры к стене, с которой не сводила глаз Мила.

– Так вы его видели? – спросил Мержи.

– Я сама – нет, его видела моя бабушка. Она так ясно представляла себе наружность этого человека, что могла бы написать его портрет.

– Что же он сказал бургомистру?

– Он предложил за сто дукатов избавить город от этой напасти. Бургомистр и горожане, понятно, без всяких разговоров ударили с ним по рукам. Тогда незнакомец вышел на базарную площадь, стал спиной к собору – прошу вас это запомнить, – достал из сумки бронзовую флейту и заиграл какую-то странную мелодию – ни один немецкий флейтист никогда ее не играл. Едва заслышав эту мелодию, из всех амбаров, из всех норок, со стропил, из-под черепиц к нему сбежались сотни, тысячи крыс и мышей. Незнакомец, не переставая играть, направился к Везеру, снял на берегу штаны и вошел в воду, а за ним попрыгали гамельнские крысы и, разумеется, утонули. В городе еще оставалась только одна крыса – сейчас я вам объясню, почему. Колдун – а ведь это был, конечно, колдун – спросил отставшую крысу, которая еще не вошла в воду: «А почему еще не пришла седая крыса Клаус?» – «У нее, сударь, от старости лапы отнялись», – отвечала крыса. «Ну так сходи за ней!» – приказал ей колдун. Крысе пришлось тащиться обратно в город, вернулась же она со старой жирной седой крысой, и до того эта крыса была стара, до того стара, что уже не могла двигаться. Крыса помоложе потянула старую за хвост, обе вошли в Везер и, как все их товарки, утонули. Так город был очищен от крыс. Но когда незнакомец явился в ратушу за вознаграждением, бургомистр и горожане, приняв в соображение, что крыс им теперь нечего бояться, а что за этого человека заступиться некому и его можно поприжать, не постеснялись предложить ему вместо обещанных ста дукатов всего только десять. Незнакомец возмутился – его послали ко всем чертям. Тогда он угрозил, что если они не сдержат данного слова, то это им обойдется дороже. Горожане ответили на угрозу дружным хохотом, вытолкали его из ратуши, вдобавок обозвали крысиных дел мастером, кличку эту подхватили ребятишки и гнались за ним по улицам до Новых ворот. В следующую пятницу ровно в полдень незнакомец снова появился на базарной площади, но на этот раз в шляпе пурпурного цвета, лихо заломленной набекрень. Он вынул из сумки флейту, непохожую на ту, с которой он был в прошлый раз, и стоило ему заиграть, как все мальчишки от шести до пятнадцати лет пошли следом за незнакомцем и вместе с ним вышли из города.

– А что же обитатели Гамельна, так и позволили их увести? – один и тот же вопрос задали одновременно капитан и Мержи.

– Они шли за ними до самого Коппенберга – в этой горе была тогда пещера, потом ее завалили. Флейтист вошел в пещеру, дети – за ним. Первое время звуки флейты слышались явственно, затем все глуше, глуше, наконец все стихло. Дети исчезли, и с той поры о них ничего не известно.

Цыганка обвела глазами слушателей – ей хотелось угадать по выражению лиц, какое впечатление произвел ее рассказ.

Первым заговорил рейтар, побывавший в Гамельне:

– Это самая настоящая бль – когда в Гамельне заходит речь о каком-нибудь необыкновенном событии, жители говорят так: «Это случилось через двадцать или там через десять лет после того, как пропали наши дети... Фон Фалькенштейн разграбил наш город через шестьдесят лет после того, как пропали наши дети».

– Но вот что любопытно, – снова заговорила Мила, – в это же время далеко от Гамельна, в Трансильвании, появились какие-то дети: они хорошо говорили по-немецки, только не могли объяснить, откуда они пришли. Все они женились на местных уроженках и научили родному языку своих детей – вот почему в Трансильвании до сих пор говорят по-немецки.

– Так это и есть те гамельнские дети, которых перенес туда черт? – улыбаясь, спросил Мержи.

– Клянусь богом, что все это правда! – воскликнул капитан. – Я бывал в Трансильвании и хорошо знаю, что там говорят по-немецки, а кругом только и слышишь какую-то чертову тарабарщину.

Объяснение капитана отличалось не меньшей достоверностью, нежели все прочие.

– Желаете, погадаю? – обратилась Мила к Мержи.

– Сделайте одолжение, – ответил тот и, обняв левой рукой цыганку за талию, протянул ей правую.

Мила молча разглядывала ее минут пять и время от времени задумчиво покачивала головой.

– Ну так как же, прелестное дитя: женщина, которую я люблю, будет моей любовницей?

Мила щелкнула его по ладони.

– И счастье, и несчастье, – заговорила она. – От синих глаз всякое бывает: и дурное, и хорошее. Хуже всего, что ты свою кровь прольешь.

Капитан и юнкер, видимо, одинаково пораженные зловещим концом предсказания, не проронили ни звука.

Трактирщик, стоя в отдалении, истово крестился.

– Я поверю, что ты настоящая колдунья, только если ты угадаешь, что я сейчас сделаю, – молвил Мержи.

– Поцелуешь меня, – шепнула Мила.

– Да она и впрямь колдунья! – воскликнул Мержи и поцеловал ее.

Затем он продолжал вполголоса беседовать с хорошенькой гадалкой – видно было, что их взаимная склонность растет с каждым мгновением.

Трудхен взяла что-то вроде мандолины, у которой почти все струны были целы, и начала наигрывать немецкий марш. Потом, заметив, что ее обступили конники, спела на своем родном языке солдатскую песню, рейтары во все горло подхватывали припев. Глядя на нее, и капитан затаил так, что стекла зазвенели, старую гугенотскую песню, напев которой был не менее дик, чем ее содержание:

Принц Конде убит,
Вечным сном он спит.
Но врагам на страх
Адмирал – в боях.
С ним Ларошфуко
Гонит далеко,
Гонит вон папошек
Всех до одного.

Рейтаров разобрал хмель, каждый пел теперь свое. Пол был усыпан осколками и объедками. Стены кухни дрожали от ругани, хохота и вакхических песен. Вскоре, однако ж, сон при поддержке паров орлеанских вин одолел большинство участников вакханалии. Солдаты разлеглись на лавках; юнкер поставил у дверей двух часовых и, шатаясь, побрел к своей кровати; сохранивший чувство равновесия капитан, не давая крена ни в ту, ни в другую сторону, поднялся по лестнице в комнату хозяина, которую он выбрал себе как лучшую в гостинице.

А Мержи и цыганка? Еще до того, как капитан запел, они оба исчезли.

ГЛАВА II

УТРО ПОСЛЕ ПОПОЙКИ

Носильщик

Сию минуточку давайте деньги, вот что!

Мольер. Смешные жеманницы

Мержи проснулся уже белым днем, и в голове у него все еще путались обрывки воспоминаний о вчерашнем вечере. Платье его было разбросано по всей комнате, на полу стоял раскрытый чемодан. Мержи присел на кровати; он смотрел на весь этот беспорядок и словно для того, чтобы собрать мысли, потирал лоб. Лицо его выражало усталость и в то же время изумление и беспокойство.

За дверью на каменной лестнице слышались тяжелые шаги, и в комнату, даже не потрудившись постучать, вошел трактирщик, еще более хмурый, чем вчера, но глаза его смотрели уже не испуганно, а нагло.

Он окинул взглядом комнату и, словно придя в ужас от всего этого кавардака, перекрестился.

– Ах, ах! – воскликнул он. – Молодой барин! Вы еще в постели. Пора вставать, нам с вами нужно свести счета.

Мержи устремленно зевнул и выставил одну ногу.

– Почему здесь такой беспорядок? Почему открыт мой чемодан? – заговорил он еще более недовольным тоном, чем хозяин.

– Почему, почему! – передразнил хозяин. – А я откуда знаю? Очень мне нужен ваш чемодан. Вы в моем доме еще больше беспорядка наделали. Но, клянусь моим покровителем – святым Евстафием, вы мне за это заплатите.

Пока трактирщик произносил эти слова, Мержи натягивал свои короткие ярко-красные штаны, и из незастегнутого кармана у него выпал кошелек. Должно быть, кошелек стукнулся об пол не так, как ожидал Мержи, потому что он с обеспокоенным видом поспешил поднять его и раскрыть.

– Меня обокрали! – повернувшись лицом к трактирщику, крикнул он.

Вместо двадцати золотых эку в кошельке оставалось всего-навсего два.

Дядюшка Эташ пожал плечами и презрительно усмехнулся.

– Меня обокрали! – торопливо завязывая пояс, повторил Мержи. – В кошельке было двадцать золотых эку, и я хочу получить их обратно: деньги у меня вытащили в вашем доме.

– Клянусь бородой, я очень этому рад! – нахально объявил трактирщик. – Было б вам не путаться с ведьмами да с воровками. Впрочем, – понизив голос, добавил он, – рыбак рыбака видит издалека. Всех, по ком плачет виселица, – еретиков, колдунов, жуликов, – водой не разольешь.

– Что ты сказал, подлец? – вскричал Мержи, тем сильнее разъярясь, что в глубине души чувствовал справедливость упреков трактирщика. Как всякий виноватый человек, он хватал за вихор представлявшийся ему удобный случай поругаться.

– А вот что, – возвышая голос и подбочениваясь, отвечал трактирщик. – Вы у меня в доме все как есть переломали, и я требую, чтобы вы мне уплатили все до последнего су.

– Я заплачу только за себя – и ни ливра больше. Где капитан Корн... Горнштейн?

– У меня выпито, – еще громче завопил дядюшка Эташ, – больше двухсот бутылок доброго старого вина, и я с вас за них взыщу!

Мержи был уже одет.

– Где капитан?! – громовым голосом крикнул он.

– Два часа назад выехал. И пусть бы он убирался к черту со всеми гугенотами, пока мы их не сожгли!

Вместо ответа Мержи закатил ему увесистую оплеуху.

От неожиданности и от силы удара трактирщик на два шага отступил. Из кармана его штанов торчала костяная ручка большого ножа, и он уже за нее схватился. Не справясь трактирщик с первым порывом ярости, беда была бы неотвратима. Благоразумие, однако, пересилило злобу, и от его взора не укрылось, что Мержи потянулся к длинной шпаге, висевшей над изголовьем. Это сразу же заставило трактирщика отказаться от неравного боя, и он затопал вниз по лестнице, крича во всю мочь:

– Разбой! Поджог!

Поле битвы осталось за Мержи, но в том, что победа принесет ему плоды, он был далеко не уверен, а потому, застегнув пояс, засунув за него пистолеты, заперев и подхватив чемодан, он принял решение идти к ближайшему судье. Он уже отворил дверь и занес ногу на первую ступеньку, как вдруг глазам его внезапно представилось вражеское войско.

Впереди со старой алебардой в руке поднимался трактирщик, за ним – трое поварят, вооруженных вертелами и палками, а в арьергарде находился сосед с аркебузой. Ни та, ни другая сторона не рассчитывала на столь скорую встречу. Каких-нибудь пять-шесть ступенек разделяли противников.

Мержи бросил чемодан и выхватил пистолет. Это враждебное действие показало дядюшке Эсташу и его сподвижникам, насколько несовершенен их боевой порядок. Подобно персам под Саламином, они не сочли нужным занять такую позицию, которая позволила бы им воспользоваться всеми преимуществами своего численного превосходства. Если бы единственный во всем их войске человек, снабженный огнестрельным оружием, попробовал его применить, он неминуемо ранил бы стоявших впереди однополчан, а между тем гугенот, держа под прицелом всю лестницу, сверху донизу, казалось, мог одним пистолетным выстрелом уложить их всех на месте. Чуть слышное щелканье курка, взведенного гугенотом, напугало их так, словно выстрел уже грянул. Вражеская колонна невольно сделала поворот «кругом» и, ища более обширного и более выгодного поля битвы, устремилась в кухню. В суматохе, неизбежной при беспорядочном отступлении, хозяин споткнулся о свою же собственную алебарду и полетел. Будучи противником великодушным, Мержи счел неблагородным прибегать к оружию и ограничился тем, что швырнул в беглецов чемодан; чемодан обрушился на них, точно обломок скалы, и, от ступеньки к ступеньке все ускоряя свое падение, довершил разгром вражеского войска. Лестница очистилась от неприятеля, а в виде трофея осталась сломанная алебарда.

Мержи сбежал по лестнице в кухню – там уже враг построился в одну шеренгу. Аркебузир держал оружие наготове и раздувал зажженный фитиль. Хозяин, падая, разбил себе нос, и теперь он, весь в крови, как раненый Менелай за рядами греков, стоял позади шеренги. Махалона или Подалирия заменяла ему жена: волосы у нее растрепались, чепец развязался, грязной салфеткой она вытирала мужу лицо.

Мержи действовал решительно. Он пошел прямо на владельца аркебузы и приставил ему к груди дуло пистолета.

– Брось фитиль, а не то я тебя пристрелю! – крикнул он.

Фитиль упал на пол, и Мержи, наступив сапогом на кончик горящего жгута, загасил его. В ту же минуту союзники, все как один, сложили оружие.

– Что касается вас, – обратившись к хозяину, сказал Мержи, – то легкое наказание, которому я вас подвергнул, надеюсь, научит вас учтивее обходиться с постояльцами. Стоит мне захотеть – и здешний судья снимет вашу вывеску. Но я не злопамятен. Ну так сколько же с меня?

Дядюшка Эсташ, заметив, что Мержи, разговаривая с ним, спустил курок своего грозного пистолета и даже засунул пистолет за пояс, набрался храбрости и, вытираясь, сердито забормотал:

– Переколотить посуду, ударить человека, разбить доброму христианину нос... поднять дикий грохот... Я уж и не знаю, чем можно вознаградить за все это порядочного человека.

– Ладно, ладно, – усмехнувшись, молвил Мержи. – За ваш разбитый нос я вам заплачу столько, сколько он, по-моему, стоит. За переколоченную посуду требуйте с рейтаров – это дело их рук. Остается узнать, сколько с меня причитается за вчерашний ужин.

Хозяин посмотрел сперва на жену, потом на поварят, потом на соседа – он как бы обращался к ним за советом и за помощью.

– Рейтары, рейтары!.. – сказал он. – Не так-то просто с них получить. Капитан дал мне три ливра, а юнкер дал мне пинка.

Мержи вынул один из оставшихся у него золотых.

– Ну, расстанемся друзьями, – сказал он и бросил монету дядюшке Эсташу, но трактирщик из презрения не протянул за ней руку, и монета упала на пол.

– Одно экю! – воскликнул он. – Одно экю за сотню разбитых бутылок, одно экю за разоренный дом, одно экю за побои!

– Одно экю, за все про все одно экю! – не менее жалобно вторила его супруга. – У нас останавливаются господа католики, ну, иной раз и пошумят, да хоть расплачиваются-то по совести.

Будь Мержи при деньгах, он, разумеется, поддержал бы репутацию своих единомышленников как людей щедрых.

– Очень может быть, – сухо возразил он, – но господ католиков не обворовывали. Как хотите, – добавил он, – берите экю, а то и вовсе ничего не получите.

И тут он сделал такое движение, словно собирался нагнуться за монетой.

Хозяйка мигом подобрала ее.

– Ну-ка, выведите моего коня! А ты брось свой вертел и вынеси чемодан.

– Вашего коня, сударь? – скорчив рожу, переспросил один из слуг дядюшки Эсташа.

Как ни был расстроен трактирщик, а все же при этих словах он поднял голову, и в глазах его вспыхнул злорадный огонек.

– Я сам сейчас выведу, государь мой, я сам сейчас выведу вашего доброго коня.

Все еще держа салфетку у носа, хозяин вышел во двор. Мержи последовал за ним.

Каково же было его удивление, когда вместо прекрасного солового коня, на котором он сюда приехал, ему подвели старую пегую клячонку с облысевшими коленями, да еще и с широким рубцом на морде! А вместо седла из лучшего фламандского бархата он увидел кожаное, обитое железом, обыкновенное солдатское седло.

– Это еще что такое? Где мой конь?

– А уж об этом, ваша милость, спросите у протестантов, у рейтаров, – с притворным смирением отвечал хозяин. – Его увели эти знатные иностранцы. Лошадки-то похожи – они, верно, и дали маху.

– Хорош конь! – молвил один из поварят. – Больше двадцати лет ему нипочем не дашь.

– Сейчас видно боевого коня, – заметил другой. – Глядите, какой у него на лбу шрам от сабельного удара!

– И какой красивой масти! Черной с белым! Ни дать ни взять – протестантский пастор!

Мержи вошел в конюшню – там было пусто.

– Кто позволил увести моего коня? – закричал он в исступлении.

– Да как же, сударь, не позволить? – вмешался слуга, ведавший конюшней. – Вашего коня увел трубач и сказал, что вы с ним поменялись.

Мержи задыхался от бешенства; он не знал, на ком сорвать зло.

– Я разыщу капитана, – проворчал он, – а уж капитан не даст спуску тому негодяю, который меня обокрал.

– Конечно, конечно! Правильно сделаете, ваша милость, – одобрил хозяин. – У капитана – как бишь его? – на лице написано, что он человек благородный.

Но Мержи в глубине души сознавал, что его обворовали если не по прямому приказу капитана, то уж, во всяком случае, с его соизволения.

– А заодно спросите денежки у той барышни, – ввернул хозяин, – она укладывала свои вещи, когда еще чуть брезжило, и, верно, по ошибке прихватила ваши монеты.

– Прикажете приторочить чемодан вашей милости к седлу вашей милости? – издевательски-почтительно спросил конюх.

Мержи понял, что эта сволочь перестанет над ним потешаться не прежде, чем он отсюда уедет. А потому, как только чемодан был приторочен, он вскочил в скверное седло, но лошадь, почуяв нового хозяина, проявила коварство: она вздумала проверить его познания в искусстве верховой езды. Однако она скоро удостоверилась, что имеет дело с опытным наездником, сейчас меньше, чем когда-либо, расположенным терпеть ее шалости. Несколько раз подряд взбрыкнув, за что всадник наградил ее по заслугам, изо всех сил всадив в нее острые шпоры, она рассудила за благо смириться и побежала крупной рысью. Однако часть своих сил она израсходовала в борьбе с седоком, и ее постигла та же участь, какая неизменно постигает в подобных обстоятельствах всех кляч на свете: она, как говорится, свалилась с ног. Наш герой тотчас же вскочил; ушибся он слегка, но был сильно раздосадован насмешками, которыми его не замедлили осыпать. Он было вознамерился отомстить за это мощными ударами сабли плашмя, однако, по зрелом размышлении, решил сделать вид, будто не слышит долетавших к нему издали оскорблений, и снова двинулся, но уже не так быстро, по дороге в Орлеан, а за ним на известном расстоянии бежали мальчишки, и те, что постарше, пели песню про Жана П...унка ¹⁵, а малыши орали истошными голосами:

– Бей гугенота! Бей гугенота! На костер его!

Уныло протрусив с полмили, Мержи умозаключил, что рейтаров он нынче едва ли догонит и что его конь, вне всякого сомнения, продан, а если даже и не продан, то вряд ли эти господа соблаговолят его вернуть. Постепенно он свыкался с тем, что конь потерян для него безвозвратно. А как скоро он в этой мысли утвердился, то, сделав дальнейший вывод, что по Орлеанской дороге ему ехать незачем, свернул на Парижскую, но не на большую, а на проселочную: проезжать мимо злополучной гостиницы, свидетельницы его несчастий, ему не хотелось. Мержи сызмала привык видеть во всем хорошую сторону, и теперь ему тоже стало казаться, что он еще счастливо отделался: ведь его могли обобрать до нитки, могли даже убить, а ему все-таки оставили один золотой, почти все пожитки, оставили коня, правда, убогого, однако способного передвигать ноги. Сказать по совести, воспоминание о хорошенькой Миле не раз вызывало у него улыбку. Когда же он, проведя несколько часов в пути, позавтракал, то уже с умилением думал о том, как деликатно поступила эта честная девушка, вытащившая у него из кошелька, в котором лежало двадцать экю, всего лишь восемнадцать. Труднее было ему примириться с потерей превосходного солового коня, однако он не мог не признать, что закоренелый грабитель на месте трубача увел бы у него коня без всякой замены.

В Париж Мержи прибыл вечером, незадолго до закрытия городских ворот, и остановился в гостинице на улице Сен-Жак.

¹⁵ Комический персонаж старинной народной песни.

ГЛАВА III

ПРИДВОРНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Jachimo
...the ring is won.
Posthumus
The stone's too hard to come by
Jachimo
Not a whit,
Your lady being so easy.
Shakespeare. Cymbeline ¹⁶

Мержи полагал, что в Париже важные особы замолвят за него словечко адмиралу Колиньи и что ему удастся вступить в ряды войска, которому, как говорили, предстояло сражаться во Фландрии под знаменами этого великого полководца. Он тешил себя надеждой, что друзья его отца, которым он вез письма, помогут ему и представят его и ко двору Карла, и адмиралу, а у Колиньи было тоже нечто похожее на двор. Мержи знал, что его брат – человек довольно влиятельный, но стоило ли его разыскивать – в этом он был далеко не уверен. Своим отречением Жорж Мержи почти окончательно отрезал себя от семьи, он стал для нее чужим человеком. То был не единичный случай семейного разлада на почве религиозных взглядов. Отец Жоржа уже давно воспретил произносить при нем имя *отступника*, и в суровости своей он опирался на слова Евангелия: *Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его*. Хотя юный Бернар подобной непреклонностью не отличался, тем не менее вероотступничество брата представлялось ему позорным пятном на семейной чести, что, естественно, повлекло за собой охлаждение братских чувств.

Прежде чем решить, как он будет вести себя с братом, прежде чем вручить рекомендательные письма, надо было подумать о том, как пополнить пустой кошелек, и с этим намерением Мержи, выйдя из гостиницы, направился к мосту Сен-Мишель, в лавочку ювелира – тот задолжал его семейству известную сумму, а у Мержи была доверенность на ее получение.

При входе на мост он столкнулся с щегольски одетыми молодыми людьми – молодые люди держались за руки и загромождали почти весь и без того узкий проход между двумя рядами бесчисленных лавчонок и мастерских, закрывавших вид на реку. За господами шли лакеи, каждый из которых нес длинную обоюдоострую шпагу в ножнах, именуемую *дуэлью*, и кинжал с такой широкой чашкой, которая в случае чего могла заменить щит. По всей вероятности, молодые люди решили, что им тяжело нести это оружие, а быть может, им хотелось показать, как богато одеты у них лакеи.

Молодые люди, должно полагать, были сегодня в духе – по крайней мере, они все время хохотали. Если мимо них проходила хорошо одетая дама, они кланялись ей с почтительной дерзостью. Иным из этих вертопрахов доставляло удовольствие грубо толкать именитых граждан в черных плащах, и те шарахались от них, шепотом посылая проклятия нахальным придворным. Только один из всей компании шел, понуриив голову, и, видимо, не принимал участия в общих развлечениях.

– Черт бы тебя взял, Жорж! – хлопнув товарища по плечу, воскликнул один из его спутников. – Что ты такой скучный? За четверть часа рта не раскрыл. Или ты дал обет молчания?

¹⁶ Я к и м о ...вот перстень мой. П о с т у м Трудненько вам добратся до него. Я к и м о Супруга ваша труд мне облегчила. Шекспир. Цимбелин (англ.)

При имени «Жорж» Мержи вздрогнул, но что ответил человек, которого так называли, – этого он не разобрал.

– Ставлю сто пистолей, – продолжал первый, – что он влюблен в какую-нибудь недотрогу. Бедняжка! Мне жаль тебя. Наскочить на неподатливую парижанку – это уж особое невезение.

– Сходи к колдуну Рудбеку, – посоветовал другой, – он тебе даст приворотного зелья.

– Не врзался ли часом наш друг капитан в монашку? – высказал предположение третий. – Эти черти гугеноты, и обращенные, и необращенные, житья не дают Христовым невестам.

Голос, который Мержи мгновенно узнал, с грустью ответил:

– Стал бы я вешать голову из-за любовных походов! Нет, дело не в этом, – понизив голос, добавил он. – Я попросил де Понса передать письмо моему отцу, де Понс вернулся и сказал, что отец по-прежнему слышать обо мне не хочет.

– Твой отец старого закала, – вмешался еще один молодой человек. – Он из тех гугенотов, которые собирались захватить Амбуаз.

При этих словах капитан Жорж случайно обернулся и заметил Бернара. Он вскрикнул от изумления и бросился к нему с распростертыми объятиями. Бернар, не задумываясь, протянул ему руки и прижал его к своей груди. Будь встреча не столь неожиданной, он, пожалуй, попробовал бы напустить на себя холодность, но именно благодаря ее нечаянности природа вступила в свои права. Они встретились, как друзья после долгой разлуки.

Отдав дань объятиям и первым расспросам, капитан Жорж обернулся к тем из своих приятелей, которые остановились посмотреть на эту сцену.

– Господа! – сказал он. – Видите, какая неожиданная встреча? Уж вы меня простите, я принужден вас покинуть, мне хочется побеседовать с братом: ведь мы с ним лет семь не видались.

– Ну нет, нелегкая тебя побери, лучше и не думай. Обед заказан, и ты должен с нами отобедать.

Молодой человек говорил это, а сам держал Жоржа за плаш.

– Бевиль прав, – молвил другой, – мы тебя не отпустим.

– Да что ты дурака валяешь? – продолжал Бевиль. – Твой брат тоже с нами отобедает. Вместо одного доброго собутыльника у нас будет два, только и всего.

– Извините, пожалуйста, – заговорил Бернар, – но у меня сегодня много дел. Мне нужно передать письма...

– Завтра передадите.

– Нет, я непременно должен доставить их сегодня... А потом, – улыбаясь слегка сконфуженной улыбкой, добавил Бернар, – по правде говоря, я без денег, мне нужно еще их достать...

– Вот так отговорка! – воскликнули все вдруг. – Вместо того чтобы пообедать с истинными христианами, идти занимать у евреев? Мы этого не допустим.

– Глядите, дружище, – хвастливо потряхнув длинным шелковым кошельком, привязанным к поясу, сказал Бевиль. – Возьмите меня к себе в казначеи. Последние две недели мне лихо везло в кости.

– Идем, идем! Чего мы тут стоим? Идем обедать к *Мавру*! – закричали другие.

Капитан обратился к своему брату, все еще пребывавшему в нерешимости:

– Да успеешь ты передать письма! А деньги у меня есть. Идем с нами. Посмотришь, как живут в Париже.

Бернар согласился. Брат познакомил его по очереди со своими приятелями:

– Барон де Водрейль, шевалье де Ренси, виконт де Бевиль и т. д.

Они наговорили своему новому знакомому уйму приятных слов, и Бернару пришлось со всеми по очереди целоваться. Последним сжал его в объятиях Бевиль.

– Эге-ге! – воскликнул он. – Прах меня побери! Да от вас, приятель, пахнет еретиком. Ставлю золотую цепь против одной пистолы, что вы протестант.

– Вы правы, милостивый государь, я протестант, но только не такой, каким бы следовало быть.

– Я гугенота из тысячи узнаю! Шут их возьми, этих господ протестантов! Какой важный вид они на себя напускают, когда речь заходит об их вере!

– Мне кажется, о таких вещах шутя говорить нельзя.

– Господин де Мержи прав, – сказал барон де Водрейль. – А вот вы, Бевиль, когда-нибудь оплатитесь за неуместные шутки над предметами священными.

– Вы только посмотрите на этого святого, – сказал Бернару Бевиль. – По части распутства всех нас за пояс заткнет, а туда же суется читать наставления!

– Я таков, каков есть, – возразил Водрейль. – Да, я распутник, – я не в силах победить свою плоть, но то, что достойно уважения, я уважаю.

– А я глубоко уважаю... мою мать, – это единственная порядочная женщина, которую я знал. Да и потом, милый мой, что католики, что гугеноты, что паписты, что евреи, что турки – мне все равно. Меня занимают их распри не больше, чем сломанная шпора.

– Безбожник! – проворчал Водрейль и, прикрываясь носовым платком, перекрестил себе рот.

– Надобно тебе знать, Бернар, – заговорил капитан Жорж, – что среди нас таких спорщиков, как ученейший Теобальд Вольфштейниус, ты не найдешь. Мы богословским беседам большого значения не придаем – слава богу, у нас есть куда девать время.

– А я думаю, что тебе было бы полезно прислушаться к поучениям просвещенного и достойного пастыря, которого ты только что назвал, – не без горечи возразил Бернар.

– Полно, братец! Потом мы еще с тобой, пожалуй, к этому вернемся. Я знаю, какого ты мнения обо мне... Ну, все равно... Сейчас не время для таких разговоров... Я полагаю о себе как о человеке порядочном, и ты в том рано или поздно уверишься... А пока довольно об этом, давай веселиться.

Словно для того, чтобы отогнать от себя тягостную мысль, он провел рукой по лбу.

– Милый мой брат! – тихо сказал Бернар и пожал ему руку. Жорж ответил Бернару тем же, а потом оба прибавили шаг и нагнали товарищей.

Из Лувра выходило множество нарядно одетых господ, капитан и его друзья почти со всеми здоровались, а с некоторыми даже целовались. Тут же они представляли им младшего Мержи, и таким образом Бернар в одну минуту перезнакомился с целой тьмой знаменитостей. При этом он узнавал их прозвища (тогда прозвище давалось каждому заметному человеку), а заодно и некрасивые истории, которые про них рассказывались.

– Видите этого бледного, желтого советника? – говорили ему. – Это мессир Petrus de finibus ¹⁷, по-французски Пьер Сегье: что бы он ни затеял, он за все горячо берется и всякий раз добывается своего. Вот маленький капитан *Жох*, иначе говоря, Торе де Монморанси. Вот *Бутылочный архиепископ* – этот, пока не пообедает, сидит на своем муле более или менее прямо. Вот один из ваших героев, отважный граф де Ларошфуко, по прозвищу *Капустоненавистник*: во время последней войны он принял слепо за отряд ландскнехтов злополучные капустные грядки и велел по ним палить.

Меньше чем за четверть часа Бернар узнал имена любовников почти всех придворных дам, а также число дуэлей, происшедших из-за их красоты. Он понял, что репутация дамы тем прочнее, чем больше из-за нее погибло людей. Так, например, у г-жи де Куртавель, присяжный возлюбленный которой убил двух соперников, было гораздо более громкое имя, нежели

¹⁷ Петр, цели достигающий (лат.).

у бедной графини де Померанд, из-за которой произошла только одна пустячная дуэль, окончившаяся легким ранением.

Внимание Бернара обратила на себя стройностью своего стана женщина, ехавшая в сопровождении двух лакеев на белом муле, которого вел под уздцы конюший. Ее платье, сшитое по последней моде, под тяжестью отделки оттягивалось вниз. Вероятно, она была красива. Известно, что дамы тогда выходили на улицу непременно в масках. Маска, скрывавшая лицо этой дамы, была черная, бархатная. Благодаря прорезям для глаз было видно или, скорее, угадывалось, что у нее ослепительной белизны кожа и синие глаза.

Завидев молодых людей, она приказала конюшему ехать медленнее. Бернару даже показалось, что она, увидев незнакомое лицо, пристально на него посмотрела. При ее приближении перья всех шляп касались земли, а она грациозно наклоняла голову в ответ на беспрерывные приветствия выстроившихся шпалерами поклонников. Когда же она удалялась, легкий порыв ветра приподнял край ее длинного атласного платья, и из-под платья блеснули зарницей тufелька из белого бархата и полоска розового шелкового чулка.

– Кто эта дама, которой все кланяются? – с любопытством спросил Бернар.

– Уже влюбился! – воскликнул Бевиль. – Впрочем, тут нет ничего удивительного: гугеноты и паписты – все влюблены в графиню Диану де Тюржи.

– Это одна из придворных красавиц, – прибавил Жорж, – одна из самых опасных Цирцей для молодых кавалеров. Но только, черт возьми, взять эту крепость не так-то просто.

– Сколько же из-за нее было дуэлей? – спросил со смехом Бернар.

– О, она их считает десятками! – отвечал барон де Водрейль. – Но это что! Как-то раз она сама решилась драться: послала картель по всей форме одной придворной даме, которая перебила ей дорогу!

– Басни! – воскликнул Бернар.

– Это уже не первый случай, – заметил Жорж. – Она послала госпоже Сент-Фуа картель, написанный по всем правилам, хорошим слогом, – она вызывала ее на смертный бой, на шпагах или на кинжалах, в одних сорочках, как это водится у *записных*¹⁸ дуэлистов.

– Я бы ничего не имел против быть секундантом одной из этих дам, чтобы посмотреть, какие они в одних сорочках, – объявил шевалье де Ренси.

– И дуэль состоялась? – спросил Бернар.

– Нет, – отвечал Жорж, – их помирили.

– Он же их и помирил, – сказал Водрейль, – он был тогда любовником Сент-Фуа.

– Ну уж не ври! Таким же, как ты, – возразил явно скромничавший Жорж.

– Тюржи – одного поля ягода с Водрейлем, – сказал Бевиль. – У нее получается мешанина из религии и нынешних нравов; она собирается драться на дуэли – а это, сколько мне известно, смертный грех, – и вместе с тем ежедневно выстаивает по две мессы.

– Оставь ты меня с мессой в покое! – вскричал Водрейль.

– Ну, к мессе-то она ходит, чтобы показать себя без маски, – заметил Ренси.

– По-моему, большинство женщин только за тем и ходит к мессе, – обрадовавшись случаю посмеяться над чужой религией, вернул Бернар.

– А равно и в протестантские молельни, – подхватил Бевиль. – Там по окончании проповеди тушат свет, и тогда происходят такие вещи!.. Ей-ей, мне смерть хочется стать лютеранином.

– И вы верите этим вракам? – презрительно спросил Бернар.

– Еще бы не верить! Мы все знаем маленького Ферана – так он ходил в Орлеане в протестантскую молельню на свидания с женой нотариуса, а уж это такая бабочка – ммм! У меня от одних его рассказов слюнки текли. Кроме молельни, ему негде было с ней встречаться. По

¹⁸ Так тогда называли профессиональных дуэлистов.

счастью, один из его приятелей, гугенот, сообщил ему пароль. Его пускали в молельню, и вы легко можете себе представить, что в темноте наш общий друг даром времени не терял.

– Этого не могло быть, – сухо сказал Бернар.

– Не могло? А, собственно говоря, почему?

– Потому что ни один протестант не падет так низко, чтобы провести паписта в молельню. Этот его ответ вызвал дружный смех.

– Ха-ха! – воскликнул барон де Водрейль. – Вы думаете, что, если уж гугенот, значит, он не может быть ни вором, ни предателем, ни посредником в сердечных делах?

– Он с луны свалился! – вскричал Ренси.

– Доведись до меня, – молвил Бевиль, – если б мне нужно было передать писульку какой-нибудь гугенотке, я бы обратился к их попу.

– Это потому, конечно, что вы привыкли давать подобные поручения вашим священникам, – отрезал Бернар.

– Нашим священникам? – побагровев от злости, переспросил Водрейль.

– Прекратите этот скучный спор, – заметив, что *каждый выпад* приобретает *остроту обидную*, оборвал спорщиков Жорж. – Не будем больше говорить о ханжах, какой бы они ни были масти. Я предлагаю – кто скажет: «гугенот», или «папист», или «протестант», или «католик», тот пускай платит штраф.

– Я согласен! – воскликнул Бевиль. – Пусть-ка он угостит нас прекрасным кагором в том трактире, куда мы идем обедать.

Наступило молчание.

– После того как беднягу Лануа убили под Орлеаном, у Тюржи явных любовников не было, – желая отвлечь друзей от богословских тем, сказал Жорж.

– Кто осмелится утверждать, что у парижанки может не быть любовника? – вскричал Бевиль. – Ведь Коменж-то от нее ни на шаг!

– То-то я гляжу, карапуз Наварет от нее отступился, – сказал Водрейль. – Он убоился грозного соперника.

– А разве Коменж ревнив? – спросил капитан.

– Ревнив, как тигр, – отвечал Бевиль. – Он готов убить всякого, кто посмеет влюбиться в прелестную графиню. Так вот, чтобы не остаться без любовника, придется ей остановиться на Коменже.

– Кто же этот опасный человек? – спросил Бернар. Незаметно для себя, он с живым любопытством стал относиться ко всему, что так или иначе касалось графини де Тюржи.

– Это один из самых славных наших *записных*, – отвечал Ренси. – Так как вы из провинции, то я вам сейчас объясню значение этого словца. *Записной* дуэлист – это человек безукоризненно светский, человек, который дерется, если кто-нибудь заденет его плащом, если в четырех шагах от него плюнут и по всякому другому столь же важному поводу.

– Как-то раз Коменж привел одного человека на Пре-о-Клер¹⁹, – заговорил Водрейль. – Оба снимают камзолы, выхватывают шпаги. Коменж спрашивает: «Ведь ты Берни из Оверни?» А тот говорит: «Ничуть не бывало. Зовут меня Вилькье, я из Нормандии». А Коменж ему: «Вот тебе раз! Стало быть, я обознался. Но уж коли я тебя вызвал, все равно нужно драться». И он его за милую душу прикончил.

Тут все стали приводить примеры ловкости и задиристости Коменжа. Тема оказалась неисчерпаемой, и разговору им хватило на все продолжение пути до трактира *Мавр*, стоявшего за чертой города, в глубине сада, поблизости от того места, где с 1564 года строился дворец

¹⁹ Тогдашнее постоянное место дуэли, Пре-о-Клер тянулся против Лувра, между Малой Августинской и Паромной улицами.

Тюильри. В трактире собрались дворяне, друзья и хорошие знакомые Жоржа, и за стол села большая компания.

Бернар, оказавшийся рядом с бароном де Водрейлем, заметил, что барон, садясь за стол, перекрестился и с закрытыми глазами прошептал какую-то особенную молитву:

– *Laus Deo, pax vivis, salutem defunctis, et beata viscera virginis Mariae quae portaverunt aeterni Pairis Filium!*²⁰.

– Вы знаете латынь, господин барон? – спросил Бернар.

– Вы слышали, как я молился?

– Слышал, но, смею вас уверить, решительно ничего не понял.

– Откровенно говоря, я латыни не знаю и даже не знаю толком, о чем в этой молитве говорится. Меня научила ей моя тетка, которой эта молитва всегда помогала, и на себе я уже не раз испытал благотворное ее действие.

– Мне думается, это латынь католическая, нам, гугенотам, она непонятна.

– Штраф! Штраф! – закричали Бевиль и капитан Жорж.

Бернар не противился, и стол устали новым строем бутылок, не замедливших привести всю компанию в отличное расположение духа.

Голоса собеседников становились все громче, Бернар этим воспользовался и, не обращая внимания на то, что происходило вокруг, заговорил с братом.

К концу второй смены блюд их *a parte*²¹ был нарушен перебранкой между двумя гостями.

– Это ложь! – кричал шевалье де Ренси.

– Ложь? – переспросил Водрейль, и его лицо, и без того бледное, стало совсем как у мертвеца.

– Я не знаю более добродетельной, более целомудренной женщины, – продолжал шевалье.

Водрейль ехидно усмехнулся и пожал плечами. Сейчас все взоры были обращены на участников этой сцены; каждый, соблюдая молчаливый нейтралитет, как будто ждал, чем кончится размова.

– Что такое, господа? Почему вы так шумите? – спросил капитан, готовый, как всегда, пресечь малейшее поползновение нарушить мир.

– Да вот наш друг шевалье уверяет, будто его любовница Силери – целомудренная женщина, – хладнокровно начал объяснять Бевиль, – а наш друг Водрейль уверяет, что нет и что он за ней кое-что знает.

Последовавший за этим взрыв хохота подлил масла в огонь, и Ренси, бешено сверкая глазами, взглянул на Водрейля и Бевиля.

– Я могу показать ее письма, – сказал Водрейль.

– Только попробуй! – крикнул шевалье.

– Ну что ж, – сказал Водрейль и злобно усмехнулся. – Я сейчас прочту этим господам одно из ее писем. Уж верно, они знают ее почерк не хуже меня – ведь я вовсе не претендую на то, что я единственный, кто имеет счастье получать от нее записки и пользоваться ее благоволением. Вот записка, которую она мне прислала не далее как сегодня.

Он сделал вид, будто нащупывает в кармане письмо.

– Заткни свою лживую глотку!

Стол был широк, и рука барона не могла дотянуться до шевалье, сидевшего как раз напротив него.

²⁰ Хвала господу, мир живучим, спасение души усопшим, блаженно чрево приснодевы Марии, носившее сына предвечного отца! (лат.)

²¹ Разговор между собой (лат.).

– Я тебе сейчас докажу, что лжешь ты, и ты этим доказательством подавишься! – крикнул он и швырнул ему в голову бутылку.

Ренси увернулся и, второпях опрокинув стул, бросился к стене за шпагой.

Все вскочили: одни – чтобы разнять повздоривших, другие – чтобы отойти в сторонку.

– Перестаньте! Вы с ума сошли! – крикнул Жорж и стал перед бароном, который был к нему ближе всех. – Подобаает ли друзьям драться из-за какой-то несчастной бабенки?

– Запустить бутылкой в голову – это все равно что дать пощечину, – рассудительно заметил Бевиль. – А ну, дружок шевалье, шпагу наголо!

– Не мешайте! Не мешайте! Освободите место! – закричали почти все гости.

– Эй, Жано, затвори двери! – лениво проговорил привыкший к подобным сценам хозяин *Мавра*. – Чего доброго, явится дозор, а от него и господам помеха, и чести моего заведения урон.

– И вы будете драться в таверне, как пьяные ландскнехты? – стараясь оттянуть время, продолжал Жорж. – Отложите хоть на завтра.

– На завтра так на завтра, – сказал Ренси и совсем уж было собрался вложить шпагу в ножны.

– Наш маленький шевалье трусит, – сказал Водрейль.

Тут Ренси, растолкав всех, кто стоял у него на дороге, кинулся на своего обидчика. Оба дрались яростно. Но Водрейль успел тщательно завернуть левую руку в салфетку и теперь ловко этим пользовался, когда ему нужно было парировать рубящие удары, а Ренси не позаботился о том, чтобы принять эту предосторожность, и при первых же выпадах был ранен в левую руку. Дрался он, однако ж, храбро и наконец крикнул лакею, чтобы тот подал ему кинжал. Бевиль, остановив лакея, сказал, что раз у Водрейля нет кинжала, то и противник не должен к нему прибегать. Друзья шевалье возразили, произошел крупный разговор, и дуэль, без сомнения, превратилась бы в потасовку, если бы Водрейль не положил этому конец: он опасно ранил противника в грудь и тот упал. Тогда Водрейль проворно наступил на шпагу Ренси, чтобы тот не мог поднять ее, и уже занес над ним свою шпагу, намереваясь добить раненого. Правила дуэли допускали подобное зверство.

– Убивать безоружного противника! – воскликнул Жорж и выхватил у Водрейля шпагу.

Рана, которую Водрейль нанес шевалье, была не смертельна, но крови он потерял много. Ему натуго перевязали рану салфетками, и во время перевязки он, смеясь неестественным смехом, бормотал, что поединок еще не кончен.

Немного погодя явились лекарь и монах; некоторое время они препирались из-за раненого. Хирург все же одолел; он приказал доставить больного на берег Сены, а оттуда довез шевалье в лодке до его дома.

Лакеи уносили перепачканные в крови салфетки, замывали кровавые пятна на полу, а другие тем временем ставили новые бутылки на стол. Водрейль тщательно вытер шпагу, вложил ее в ножны, перекрестился, а затем, как ни в чем не бывало, достал из кармана письмо. Попросив друзей не шуметь, он прочел первую строку, и ее покрыл громовой хохот собравшихся:

«Мой дорогой! Этот несносный шевалье, который мне надоел...»

– Уйдем отсюда! – с отвращением сказал брату Бернар.

Капитан вышел следом за ним. Все внимательно слушали чтение письма, так что их исчезновения никто не заметил.

ГЛАВА IV ОБРАЩЕННЫЙ

Дон Жуан

Неужели ты за чистую монету принимаешь то, что я сейчас говорил, и думаешь, будто мои уста были в согласии с сердцем?

Мольер. Каменный гость

Капитан Жорж возвратился в город вместе с братом и привел его к себе. По дороге они и двух слов не сказали друг другу: они только что явились свидетелями сцены, которая произвела на них тяжелое впечатление, и им обоим не хотелось сейчас говорить.

Ссора и последовавшая за ней дуэль не по правилам были для того времени явлением обычным. Обидчивая чувствительность дворянства приводила всюду во Франции к роковым последствиям: при Генрихе III и Генрихе IV дуэльное бешенство отправляло на тот свет больше дворян, нежели десятилетняя гражданская война.

Убранство помещения, где жил капитан, носило отпечаток тонкого вкуса. Внимание привыкшего к более скромной обстановке Бернара прежде всего привлекли шелковые с разводами занавески и пестрые ковры. Бернар вошел в кабинет, который его брат называл своей *моленной*, – слово «будуар» тогда еще не было придумано. Дубовая скамеечка с красивой резьбой, мадонна кисти итальянского художника, чаша со святой водой и с большой веткой букса – все как будто подтверждало, что эта комната предназначена для благочестивых целей; в то же время обитый черной каймой диван, венецианское зеркало, женский портрет, оружие и музыкальные инструменты свидетельствовали о более или менее светских привычках хозяина.

Бернар бросил пренебрежительный взгляд на чашу и ветку букса – на это печальное напоминание об отступничестве брата. Низенький лакей принес варенье, конфеты и белое вино – чай и кофе тогда еще не были в ходу: вино заменяло нашим неприхотливым предкам изысканные напитки.

Бернар, держа в руке стакан, перебежал глазами с мадонны на чашу, с чаши на скамеечку. Затем он глубоко вздохнул и, взглянув на брата, небрежно раскинувшегося на диване, сказал:

– А ведь ты настоящий папист! Что бы сказала сейчас наша матушка!

Эти слова, видимо, задели капитана за живое. Он сдвинул густые свои брови и сделал рукой такое движение, словно просил Бернара не затрагивать этого предмета, но брат был неумолим:

– Неужели ты и сердцем отрекся от веры, которую исповедует наша семья, как отрекся устами?

– От веры, которую исповедует наша семья?.. Но ведь я-то ее никогда не исповедовал!.. Чтобы я... чтобы я поверил той лжи, которой учат ваши гнусавые проповедники?.. Чтобы я...

– Ну, конечно, куда приятнее верить в чистилище, в таинство исповеди, в непогрешимость папы! Куда лучше преклонять колена перед пыльными сандалиями капуцина! Скоро ты каждый раз, садясь обедать, будешь читать молитву барона де Водрейля!

– Послушай, Бернар: я ненавижу всякие споры, а тем более споры о религии, но рано или поздно мне все равно пришлось бы с тобой объясниться, и коль скоро мы об этом заговорили, так уж давай выскажем друг другу все. Я буду с тобой откровенен.

– Значит, ты не веришь дурацким выдумкам папистов?

Капитан пожал плечами и, спустив ногу на пол, звякнул одною из своих широких шпор.

– Паписты! Гугеноты! И тут, и там суеверие. Я не умею верить в то, что моему разуму представляется нелепостью. Наши литании, ваши псалмы – одна бессмыслица стоит другой.

Вот только, – с улыбкой прибавил он, – в наших церквах бывает иногда хорошая музыка, а у вас – заткни уши, беги вон.

– Нечего сказать, существенное преимущество твоей веры! Есть из-за чего в нее переходить!

– Не называй эту веру моей, я не верю ни во что. С тех пор как я научился мыслить самостоятельно, с тех пор как мой разум идет своей дорогой...

– Но...

– Не надо мне никаких проповедей. Я знаю заранее, что ты мне будешь говорить. У меня тоже были свои надежды, свои страхи. Ты думаешь, я не делал огромных усилий, чтобы сохранить отрадные суеверия моего детства? Я перечел всех наших богословов – я искал у них разрешения обуревавших меня сомнений, но сомнения мои после этого только усилились. Словом, я не мог, я не могу больше верить. Вера – это драгоценный дар, и мне в нем отказано, но я ни за что на свете не стал бы лишать его других.

– Мне жаль тебя.

– Ну что ж, по-своему ты прав... Когда я был протестантом, я не верил проповедям; когда же я стал католиком, я не уверовал в мессу. Да и потом, разве ужасов гражданской войны, черт бы ее побрал, не достаточно для того, чтобы искоренить самую крепкую веру?

– Эти ужасы – дело людских рук, их творили люди, извратившие слово божие.

– Ты повторяешь чужие слова, и, представь себе, они меня не убеждают. Я не понимаю вашего бога, я не могу его понять... А если бы я в него верил, то, как говорит наш друг Жодель, *постольку-поскольку*.

– Раз ты к обеим религиям равнодушен, зачем же ты отрекся от одной из них и этим так огорчил и родных, и друзей?

– Я чуть не двадцать писем послал отцу, я хотел объяснить ему мои побуждения и оправдаться перед ним, но он бросал их в печку не читая, он обходился со мной, как с великим преступником.

– Мы с матушкой не одобряли крайней его суровости. Если б не его приказания...

– В первый раз слышу. Ну, уж теперь поздно. Меня вот что толкнуло на этот необдуманый шаг, – вторично я бы его, конечно, не совершил...

– То-то же! Я был уверен, что ты раскаиваешься.

– Раскаиваюсь? Нет. Я же ничего плохого не сделал. Когда ты еще учил в школе латынь и греческий, я уже надел латы, повязал белый шарф²² и пошел на нашу первую гражданскую войну. Ваш принц-карапузик, из-за которого вы допустили столько ошибок, ваш принц Конде уделял вам только то время, которое у него оставалось от любовных походов. Меня любила одна дама – принц попросил меня уступить ее ему. Я не согласился, он сделался моим ярым врагом. Он задался целью во что бы то ни стало сжить меня со свету.

Красавчик-карапузик принц
С милашками лизаться любит.

И он еще смел указывать на меня фанатически верующим католикам как на олицетворение распутства и неверия! У меня была только одна любовница, и я не изменял ей. Что касается неверия... так ведь я же никого не соблазнял! Зачем тогда объявлять мне войну?

– Никогда бы я не поверил, что принц способен на такую низость.

– Он умер, и вы сделали из него героя. Так всегда бывает на свете. Он был человеком не без достоинств, умер смертью храбрых, я ему все простил. Но при жизни он был могуществен,

²² Это был цвет реформатов.

и если такой бедный дворянин, как я, осмеливался ему перечить, он уже смотрел на него как на преступника.

Капитан прошелся по комнате, а затем продолжал, волнуясь все более и более:

– На меня сейчас же накинлись все пасторы, все ханжи, какие только были в войске. Я так же мало обращал внимания на их лай, как и на их проповеди. Один из приближенных принца, чтобы подольститься к нему, при всех наших полководцах обозвал меня потаскуном. Я ему дал пощечину, а потом убил на дуэли. В нашей войске ежедневно бывало до десяти дуэлей, и военачальники смотрели на это сквозь пальцы. Мне же дуэль с рук не сошла – принц решил расправиться со мной в назидание всему войску. По просьбе высоких особ, в том числе – к чести его надо сказать – по просьбе адмирала меня помиловали. Однако ненависть ко мне принца не была утолена. В сражении под Жизнейлем я командовал отрядом конных пистолетчиков. Я первым бросался в бой, мои латы погнулись в двух местах от аркебузных выстрелов, мою левую руку пронзило копье – все это доказывало, что я себя не берег. Под моим началом было не более двадцати человек, а против нас был брошен целый батальон королевских швейцарцев. Принц Конде приказывает мне идти в атаку... я прошу у него два отряда рейтаров... а он... он называет меня трусом!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.